

Козлиная песнь

Автор:

Константин Вагинов

Козлиная песнь

Константин Константинович Вагинов

«Константин Константинович Вагинов был один из самых умных, добрых и благородных людей, которых я встречал в своей жизни. И возможно, один из самых даровитых», – вспоминал Николай Чуковский.

Писатель, стоящий особняком в русской литературной среде 20-х годов XX века, не боялся обособленности: внутреннее пространство и воображаемый мир были для него важнее внешнего признания и атрибутов успешной жизни.

Константин Вагинов (Вагенгейм) умер в возрасте 35 лет. После смерти писателя, в годы советской власти, его произведения не переиздавались. Первые публикации появились только в 1989 году.

В этой книге впервые публикуется как проза, так и поэтическое наследие К.Вагинова.

Константин Вагинов

Козлиная песнь

Предисловие,

произнесенное появляющимся на пороге книги автором

Петербург окрашен для меня с некоторых пор в зеленоватый цвет, мерцающий и мигающий, цвет ужасный, фосфорический. И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый огонек, ехидный и подхихикивающий. Мигнет огонек – и не Петр Петрович перед тобой, а липкий гад; взметнется огонек – и ты сам хуже гада; и по улицам не люди ходят: заглянешь под шляпку – змеиная голова; всмотришься в старушку – жаба сидит и животом движет. А молодые люди каждый с мечтой особенной: инженер обязательно хочет гавайскую музыку услышать, студент – поэффектнее повеситься, школьник – ребенком обзавестись, чтоб силу мужскую доказать. Зайдешь в магазин – бывший генерал за прилавком стоит и заученно улыбается; войдешь в музей – водитель знает, что лжет, и лгать продолжает. Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя.

Предисловие,

произнесенное появившимся посредине книги автором

Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается – автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер. Покажешь ему гробик – сейчас постукает и узнает, из какого материала сделан, как давно, каким мастером, и даже родителей покойника припомнит. Вот сейчас автор готовит гробик двадцати семи годам своей жизни. Занят он ужасно. Но не думайте, что с целью какой-нибудь гробик он изготавливает, просто страсть у него такая. Поведет носиком – трупом пахнет; значит, гроб нужен. И любит он своих покойников, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет, и заговаривает, и исподволь доски заготавливает, гвоздики закупает, кружев по случаю достает.

Глава I. Тептелкин

В городе ежегодно звездные ночи сменялись белыми ночами. В городе жило загадочное существо – Тептелкин. Его часто можно было видеть идущего с чайником в общественную столовую за кипятком, окруженного нимфами и

сатирами. Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных местах, и жеманные статуи, наследие восемнадцатого века, казались ему сияющими солнцами из пентелийского мрамора. Только иногда подымал Тептелкин огромные, ясные глаза свои – и тогда видел себя в пустыне.

Безродная, клубящаяся пустыня, принимающая различные формы. Подыметесь тяжелый песок, спиралью вьется к невыносимому небу, окаменевают в колонны, песчаные волны возносятся и застывают в стены, приподнимется столбик пыли, взмахнет ветер верхушкой – и человек готов, соединятся песчинки, и вырастут в деревья, и чудные плоды мерцают.

Одним из самых непрочных столбиков пыли была для Тептелкина Марья Петровна Далматова. Одетая в шумящее шелковое платье, являлась она ему чем-то неизменным в изменчивости. И когда он встречался с ней, казалось ему, что она соединяет мир в стройное и гармоническое единство.

Но это бывало только иногда. Обычно Тептелкин верил в глубокую неизменность человечества: возникшее раз, оно, подобно растению, приносит цветы, переходящие в плоды, а плоды рассыпаются на семена.

Все казалось Тептелкину таким рассыпавшимся плодом. Он жил в постоянном ощущении разлагающейся оболочки, сгнивающих семян, среди уже возносящихся ростков.

Для него от сгнивающей оболочки поднимались тончайшие эманации, принимавшие различные формы.

В семь часов вечера Тептелкин вернулся с кипятком в свою комнату и углубился в бессмысленнейшее и ненужнейшее занятие. Он писал трактат о каком-то неизвестном поэте, чтоб прочесть его кружку засыпающих дам и восхищающихся юношей. Ставился столик, на столик лампа под цветным абажуром и цветок в горшочке. Садилась полукругом, и он то поднимал глаза в восхищении к потолку, то опускал к исписанным листкам. В этот вечер Тептелкин должен был читать. Машинально взглянув на часы, он сложил исписанные листки и вышел. Он жил на второй улице Деревенской Бедноты. Травка росла меж камней, и дети пели непристойные песни. Торговка блестящими семечками долго шла за ним и упрашивала его купить остаток. Он посмотрел на нее, но ее не заметил. На углу он встретился с Марьей Петровной

Далматовой и Наташей Голубец. Перламутровый свет, казалось ему, исходил от них. Склонившись, он поцеловал у них ручки.

Никто не знал, как Тептелкин жаждал возрождения. «Жениться хочу», – часто шептал он, оставаясь с квартирной хозяйкой наедине. В такие часы лежал он на своем вязаном голубом одеяле, длинный, худой, с седеющими сухими волосами. Квартирная хозяйка, многолюбивая натура, расплывшееся горой существо, сидела у ног его и тщетно соблазняла пышностью своих форм. Это была сомнительная дворянка, мнимо владевшая иностранными языками, сохранившая от мысленного величия серебряную сахарницу и гипсовый бюст Вагнера. Стриженная, как почти все женщины города, она, подобно многим, читала лекции по истории культуры. Но в ранней юности она увлекалась оккультизмом и вызывала розовых мужчин, и в облаке дыма голые розовые мужчины ее целовали. Иногда она рассказывала, как однажды нашла мистическую розу на своей подушке и как та превратилась в испаряющуюся слизь.

Она подобно многим согражданам любила рассказывать о своем бывшем богатстве, о том, как лакированная карета, обитая синим стеганым атласом, ждала ее у подъезда, как она спускалась по красному сукну лестницы и как течение пешеходов прерывалось, пока она входила в карету.

– Мальчишки, раскрыв рты, – рассказывала она, – глазели. Мужчины, в шубах с котиковыми воротниками, осматривали меня с ног до головы. Мой муж, старый полковник, спал в карете. На запятках стоял лакей в шляпе с кокардой, и мы неслись в императорский театр.

При слове «императорский» нечто поэтическое просыпалось в Тептелкине. Казалось ему – он видит, как Авереску в золотом мундире едет к Муссолини, как они совещаются о поглощении югославского государства, об образовании взлетающей вновь Римской империи. Муссолини идет на Париж и завоевывает Галлию. Испания и Португалия добровольно присоединяются к Риму. В Риме заседает Академия по отысканию наречия, могущего служить общим языком для вновь созданной империи, и среди академиков – он, Тептелкин. А хозяйка, сидя на краю постели, все трещала, пока не вспоминала, что пора идти в Политпросвет. Она вкладывала широкие ступни в татарские туфли и, колыхаясь, плыла к дверям. Это была вдова капельмейстера Евдокия Ивановна Сладкопевцева.

Тептелкин поднимал свою седеющую, сухую голову и со злобой смотрел ей вслед.

«Никакого дворянского воспитания, – думал он. – Пристала ко мне, точно прыщ, и работать мешает».

Он вставал, застегивал желтый китайский халат, купленный на барахолке, наливал в стакан холодного черного чая, размешивал оловянной ложечкой, доставал с полки томик Парни и начинал сличать его с Пушкиным.

Окно раскрывалось, серебристый вечер рябил, и казалось Тептелкину: высокая, высокая башня, город спит, он, Тептелкин, бодрствует. «Башня – это культура, – размышлял он, – на вершине культуры – стою я».

– Куда это вы все спешите, барышни? – спросил Тептелкин, улыбаясь. – Отчего не заходите на наши собрания? Вот сегодня я сделаю доклад о замечательном поэте, а в среду, через неделю, прочту лекцию об американской цивилизации. Знаете, в Америке сейчас происходят чудеса; потолки похищают звуки, все жуют ароматическую резину, а на заводах и фабриках перед работой орган за всех молится. Приходите, обязательно приходите.

Тептелкин солидно поклонился, поцеловал протянутые ручки, и барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете.

Гулял ли Тептелкин по саду над рекой, играл ли в винт за зеленым столом, читал ли книгу, – всегда рядом с ним стоял Филострат. Неизреченной музыкой было полно все существо Филострата, прекрасные юношеские глаза под крылами ресниц смеялись, длинные пальцы, унизанные кольцами, держали табличку и стиль. Часто шел Филострат и как бы беседовал с Тептелкиным.

«Смотри, – казалось Тептелкину, говорил он, – следи, как Феникс умирает и возрождается».

И видел Тептелкин эту странную птицу с лихорадочными женскими ориентальными глазами, стоящую на костре и улыбающуюся.

Пусть читатель не думает, что Тептелкина автор не уважает и над Тептелкиным смеется, напротив, может быть, Тептелкин сам выдумал свою несносную фамилию, чтобы изгнать в нее реальность своего существа, чтобы никто, смеясь над Тептелкиным, не смог бы и дотронуться до Филострата. Как известно, существует раздвоенность сознания, может быть, такой раздвоенностью сознания и страдал Тептелкин, и кто разберет, кто кому пригрелся – Филострат ли Тептелкину или Тептелкин Филострату.

Иногда Тептелкина навещал сон: он сходит с высокой башни своей, прекрасная Венера стоит посредине пруда, шепчется длинная осока, восходящая заря золотит концы ее и голову Венеры. Чирикают воробьи и прыгают по дорожкам. Он видит – Марья Петровна Далматова сидит на скамейке и читает Каллимаха и подымает полные любви очи.

– Средь ужаса и запустения живем мы, – говорит она.

Интермедия

На проспекте 25 Октября благовоспитанные молодые люди, Костя Ротиков и Миша Котиков, прислонившись к чугунным перилам, протянули друг другу зажженные спички.

В прежние времена в более поздний час не менее благородные молодые люди мчали венгерку и мазурку, подыгрывая музыку на губах. Как известно, в прежние времена проспект пустел совершенно после трех часов ночи. Фонари гасли, и ищущие субъекты и играющие задами женщины исчезали в соответствующих заведениях.

Но сейчас около девяти часов. По крайней мере часы на бывшей городской думе, а теперь на третьеразрядном кинематографе, показывают без десяти минут девять. Но молодые люди стояли не против бывшей городской думы, а на мосту под вздыбленным конем и голым солдатом, так, по крайней мере, казалось им.

1916 г. – На этом-то проспекте, на западный манер провел неизвестный поэт свою юность. Все в городе ему казалось западным – и дома, и храмы, и сады, и даже бедная девушка Лида казалась ему английской Анной или французской Миньонной.

Худенькая, с небольшим белокурым хохолком на голове, с фиалковыми глазками, она бродила между столиков в кафе под модную тогда музыку и подсаживалась к завсегдатаям нерешительно. Некоторые ее угощали кофе, сваренным вместе со сливками, другие шоколадом с пеной и двумя бисквитами, третьи – просто чаем с лимоном. Люди во фраках с салфеткой под мышкой, проходя, обращались к ней на «ты» и, склонившись, шептали на ухо непристойность.

В этом кафе молодые люди мужского пола уходили в мужскую уборную не затем, зачем ходят в подобные места. Там, оглянувшись, они вынимали, сыпали на руку, вдыхали и в течение некоторого времени быстро взмахивали головой, затем, слегка побледнев, возвращались в зал. Тогда зало переменялось. Для неизвестного поэта оно превращалось чуть ли не в Авернское озеро, окруженное обрывистыми, поросшими дремучими лесами берегами, и здесь ему как-то явилась тень Аполлония.

1907 г. – Толпы гуляющих двигались неторопливо. В белоснежных, голубых, розовых колясках сидели, лежали, стояли дети. Влюбленные гимназисты провожали влюбленных гимназисток. Продавцы предлагали парниковые, пахнущие дешевыми духами фиалки и качающиеся нарциссы. Буржуа возвращались с утренней прогулки на острова – в ландо, обитых синим или коричневым сукном, в шарабанах, в колясках, запряженных вороной или серой парой. Изредка мелькали кареты, в них виднелись старушечьи носы и подбородки. Они подъезжали, сбегал швейцар и почтительно открывал дверцу. Неизвестный поэт часто ездил в таких экипажах. Сидела мать, женщина задумчивая, бледная, на козлах вырисовывался круп кучера, на коленях у матери лежали цветы или коробка конфет, мальчику было лет семь, любил он балет, любил он лысые головы сидящих впереди и всеобщую натянутость и нарядность. Он любил смотреть, как мама пудрится перед зеркалом, перед тем как ехать в театр, как застегивает обшитое блестками платье, как она открывает зеркальный створчатый шкаф и душит платок. Он, одетый в белый костюм, обутый в белые лайковые сапожки, ждал, когда мама окончит

одеваться, расчешет его локоны и поцелует.

1913 г. – Семья сидела за круглым столом, освещенная морозным, красным солнцем. В соседней комнате топилась печь, и слышно было, как дрова трещали. За окнами была устроена снежная гора, и видно было, как дворовые дети неслись с высоты на санках.

После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с губернатором в банкирскую контору Копылова. Копылов издавал журнал «Старая монета». У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафики с выдвигаемыми полочками, обитыми синим бархатом, на бархате лежали стратеры Александра Македонского, тетрадрахмы Птолемея, золотые, серебряные динарии римских императоров, монеты Босфора Киммерийского, монеты с изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иисуса, мифологических зверей, героев, храмов, треножников, трирем, пальм; монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров, государств – некогда сиявших, народов – некогда потрясавших мир или завоеваниями, или искусствами, или героическими личностями, или коммерческими талантами, а теперь не существующих. Губернатор сидел на кожаном диване и читал газету, мальчик рассматривал монеты. На улице темнело. Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти, к перенесению себя в иные страны и народности. Вот, взнесенная шеей, голова Гелиоса, с полуоткрытым, как бы поющим ртом, заставляющая забыть все. Она наверно будет сопутствовать неизвестному поэту в его ночных блужданиях. Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты, вот несущаяся Сиракузская колесница, а вот монеты варваров, жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами, вот и средневековое, прямолинейное, фанатическое, где вдруг, от какой-нибудь детали, пахнёт, сквозь иную жизнь, солнцем.

И все новые и новые появляются ящички.

Губернатор прочел всю газету. За окнами горят фонари.

– Пора, – говорит он, – не то мы опоздаем к обеду. Купленные монеты опускаются в отдельные конвертики, конвертики в большой конверт.

Придя домой, мальчик доставал лупу, огромную как круглое окно, садился на дубовый табурет перед столом, раскладывал приобретенные монеты и совершал путешествия во времени, пока не проходил мимо комнаты отец в бухарском халате в столовую и горничная не забежала сказать:

- Кушать подано.

После обеда отец отправлялся в кабинет, обставленный книжными шкафами, соснуть часок-другой на ковровом диване. В шкафах помещались великолепные книги, которые можно было встретить в любом интеллигентном семействе: приложение к «Ниве», страшнейшие романы Крыжановской, возбуждающий бессонницу граф Дракула, бесчисленный Немирович-Данченко, иностранные беллетристы на русском языке. Были и научные книги: «Как устранить половое бессилие», «Что нужно знать ребенку», «Трехсотлетие Дома Романовых».

В девять часов вечера отец облакался в форму, душился и уезжал в клуб.

После отъезда отца в кабинете появлялся будущий неизвестный поэт, садился на диван, на ковре расстилалась карта, на диване разбрасывался Гиббон и всяческая археология. В соседней комнате, в гостиной, мать играла «Молитву девы». В своей комнате младший брат читал Нат-Пинкертон, в комнате неизвестного поэта губернатор надевал сапоги, напевая шансонетку, - он шел поразвлечься после трудового дня; на кухне денщик сажал на колени горничную, та - ржала.

1917 г. - Неизвестному поэту было 16 лет, Лиде 18, когда они встретились. Она тогда лишь изредка появлялась в кафе. Иногда она говорила, что она гимназистка, и вспоминала поездку на лихаче, тишайшую ночь, проносящиеся дома, мелькающие деревья и кабинет ресторана, офицеров, звон бокалов и как она плакала на диване, утирая слезы краем черного передника. Иногда она рассказывала, что была влюблена в студента, белоподкладочника, и как он уступил ее своим товарищам.

Иногда она говорила, что ее обесчестил женатый человек, лицо, уважаемое в городе, с длинной седой бородой, любящее гулять вечером по Летнему саду.

Неизвестный поэт оторвался от чтения, от расставления книг по полкам, от рассматривания монет. Был третий час ночи. Мимо портьер, наглухо опущенных, по черной лестнице он сошел на пустынный двор, ослепительно освещенный огромным висячим фонарем. Удивленный дворник выпустил его из-под ворот и видел, как юноша убегает по широкой улице по направлению к Невскому. Шел дождь мелкий, косой. На ступеньках подъезда, разложив подаренные им ей в прошлую ночь атласные карты, сидела Лида, прислонившись к дверям. Она дремала, полураскрыв рот. Неизвестный поэт сел рядом, посмотрел на ее девичье лицо, на тающий снег вокруг, на часы над головой, достал белое, искрящееся из кармана, отвернулся к стене, особое звучание, похожее на протяжное «о», переходящее в «а», казалось ему, понеслось по улицам. Он видел – дома сузились и огромными тенями пронзили облака. Он опустил глаза, – огромные красные цифры фонаря мигают на панели. Два – как змея, семь – как пальма.

Разложенные карты притягивают его глаза. Фигуры оживают и вступают с ним в неуловимое соотношение. Он связан с картами, как актер с кулисами; он быстро будит Лиду и, по странной иронии начинает играть с ней в дурачка; пятерки карт дрожат в их руках, пока в глазах не темнеет, ветер мешает, они отворачиваются к стене; дождь переходит в порхающий мягкий тающий снег. Они защищены навесом.

Карты ему кажутся ужасом и пустотой. Скоро начнет просыпаться город.

– В чайную, в чайную скорей! – говорит Лида. – Я совсем застыла за эту проклятую ночь! Неужели ты не мог прийти раньше и увезти меня в гостиницу! Я бы проспала как убитая! я ведь третью ночь на улице! Нет ли у тебя денег, может быть, мы найдем пустую комнату.

– Что ты, Лида! в пять часов все гостиницы переполнены, нас никуда не впустят!

– Тогда идем скорей, скорей в чайную. Меня мучит тоска. Боже мой, скорей, скорей идем в чайную!

Он посмотрел на ее совершенно белое лицо, на расширенные зрачки; сколько внутренних лет сидит он здесь, что означает фонарь, что знаменует собой снег и что значит он, появившийся на проспекте?

– Цветы любви, цветы дурмана... —

неожиданно запела Лида, отступив от подъезда. Проходил какой-то забулдыга; он посмотрел на них иронически. Неизвестный поэт и Лида, сквозь завесу колющего снега, пошли. Карты лежали забытые на подъезде.

Ночная чайная гремела. Проститутки, в платках, в ситцевых платьях, смотрели нагло и вызывающе. На бледных лицах непойманных воров мигали глаза и бегали по углам, на круглых столах стоял чай невыносимого, как заря, цвета. Неизвестный поэт и Лида появились в дверях. Ночь отошла.

Проспект 25 Октября носил в те времена иное название. Украшенный круглыми ослепительными электрическими фонарями, в то время как окружающие его улицы и переулки мерцали от газового освещения, простирал он между домами дворцы, церкви и казенные здания. Сквозь стекла окон и дверей можно было видеть белоснежные лестницы с коврами нежнейшей окраски, портьеры, играющие шелками, столики из всевозможных материалов, кресла и диваны всевозможных форм. Иногда, в длинных залах, под потолками, с несущимися по воздуху амурами, молодые люди просиживали ночи напролет, глядя помертвевшими глазами в пространство.

Сергей К. сидел в своей комнате, разделенной надвое шкафами с французскими книгами. В столовой, сохранившей следы восемнадцатого века, было тихо – семья, вплоть до бабушки, уже отпила вечерний чай и разбрелась по своим комнатам. Бабушка, должно быть, в это время снимала свою наколку перед зеркалом, или, может быть, мазала руки на ночь какой-нибудь пастой, или освобождала себя от корсета с помощью своей горничной; мать, должно быть, писала своей подруге в Париж, или, может быть, перечитывала свой девичий альбом, или распускала волосы перед зеркальным шкафом, в то время как ее горничная опускала шторы. Отец в это время подъезжал к яхт-клубу на Морской, чтоб провести ночь за зеленым столом, или, может быть, входил в ресторан Кюба, чтоб встретиться там с одной из полночных див.

Часы в столовой пробили одиннадцать. Раздался звонок, вошел неизвестный поэт, и друзья отправились.

Луна и звезды прояснились над городом.

Поскрипывал снег, гудели белые от света, наполненные зем-гусарами, трамваи, кинематографы предлагали зрелища, личности под воротами – порнографические книжки и карточки, трусцой на извозчиках ехали парочки, таксомоторы двигались, приготавливаясь нестись.

На панелях кучками стояли, ходили, подтанцовывали женщины с раскрашенными лицами.

Неизвестный поэт остановился.

– Вспомни вчерашнюю ночь, – повернул он свое, с нависающим лбом, с атрофированной нижней частью, лицо к Сергею К., – когда Нева превратилась в Тибр, по садам Нерона, по Эсквилинскому кладбищу мы блуждали, окруженные мутными глазами Приапа. Я видел новых христиан, кто будут они? Я видел дьяконов, раздатчиков хлебов, я видел неясные толпы, разбивающие кумиры. Как ты думаешь, что это значит, что это значит?

Неизвестный поэт смотрел вдаль.

На небе перед ним постепенно выступал страшный, заколоченный, пустынный, поросший травой город – друзья шли по освещенной, жужжащей, стрекочущей, напевающей, покрикивающей, позванивающей, поблескивающей, поигрывающей улице, среди ничего не подозревавшей толпы.

1918–1920 гг. – На снежной горе, на Невском, то скрывааемый вьюгой, то вновь появляющийся, стоит неизвестный поэт: за ним – пустота. Все давно уехали. Но он не имеет права, он не может покинуть город. Пусть бегут все, пусть смерть, но он здесь останется и высокий храм Аполлона сохранит. И видит он – вокруг него образуется воздушный снежный храм и он стоит над расщелиной.

Неизвестный поэт и Сергей К. шли по коврам фойе на цыпочках. С некоторых пор они чувствовали боль в затылках.

На постах стояли милиционерки, театрально отставив ножку, лутили семечки и переругивались с танцующими личностями у фонарей.

Распускалась темная ночь позднего лета. Уже не луна и одна звезда, а луна и тысячи звезд, голубоватых, красноватых, желтоватых, освещали город.

По этим-то торцам и панелям пробегала Лида, уже босая и подурневшая.

«Черт возьми, – думала она, – вот жизнь и кончается. Где бы на чулки и туфельки взять? Так ведь и на понюшку не заработаешь».

Она бросилась в чайную.

– Пошла вон, – толкнул ее в грудь человек с салфеткой, – явилась шляться, из-за вас еще заведение закроют.

Неизвестный поэт с приятелем появились из-под ворот.

– Пойдем, Сережа, в Летний сад, – сказал он, – посидим на скамеечке.

– Ты! – вскрикнула Лида. Но через секунду отступила. – Извините, я помешала вам.

Приближался патруль.

Лида бросилась в ворота ближайшего дома.

Молодые люди скрылись на Невском.

Глава III. Междусловие

Я сижу у моего друга, известного художника. Он спит за три комнаты отсюда. Комната, где я нахожусь, выходит ротондой на улицу. Сейчас три часа ночи. Электрические лампочки, прикрепленные к трамвайному столбу, горят внизу. Из

окон крыши домов не видны, они сливаются с небом, а за домами, я чувствую, течет Нева, – голубая.

Ночь темна. Сейчас третий час ночи. Любимый час моих героев. Час расцвета неизвестного поэта, его способностей и видений. Я снова вижу: сквозь лютый мороз, по снежным ухабам улиц, под ужасающий ветер, от которого омертвевает лицо, он ищет опьянения, не как наслаждения, а как средства познания, как средства ввергнуть себя в то священное безумие (*amabilis insania*), в котором раскрывается мир, доступный только прорицателям (*vates*).

Окна закрыты. Дома опустошены. Все дальше от него отступает священное безумие. Нет больше пальм, платанов, кипарисов. Нет больше портиков, нет водометов. Нет больше великой свободы духа. Нет больше бесед под открытым, черным или златоцветным небом. Я вижу – среди разрушающихся домов он прощается со своими друзьями. Вот сидит на камне, бегая глазами, как сумасшедший, один из них. Вот другой неподвижно лежит на земле. Он чувствует, что он умер. Вот третий взбирается по разрушенной лестнице в сквозном доме, чтоб с высоты, в последний раз, посмотреть на город. Вот неизвестный поэт стоит, прислонившись к колонне. Разбитая капитель с листьями аканта доходит ему до колен; он слышит, как в соседнем доме кричит петух. Он вспоминает кошек, уходящих умирать в такие же запущенные здания. Тихо появляется одна, вытягивая шею, волочит задние ноги. За ней другая, мокрая и дрожащая, не удерживается, падает с лестницы в черный провал. Третья, потухшими глазами тщетно поискав вокруг, силится свернуться в клубок и не успевает.

Сейчас, должно быть, три часа. Темно, совсем темно. Внизу женщина играет на рояле. Я уверен, что это женщина. Я думаю, ей кажется, что нежный друг лежит у ее ног. Я думаю, она распустила волосы. Я раскрываю диалог Барталомео Таеджо «L'Umore» и читаю рассуждения в похвалу и в хулу вину. О дружбе, существующей между вином и поэзией. Я возвращаюсь к первой странице, где описывается день жатвы винограда в прелестнейшем селении Робекко. Девушки у давилен воспевают драгоценность лозы, на дорогах крестьяне, повозки, лохани с виноградом или вином. Другие поселяне идут от дороги с корзинами, котомками освободить кусты от плодов. В опьяняющем воздухе движутся толпы галерников, входя пением и игрою на гитаре в сердца, полные любви, поселянок.

Я вспоминаю страницу из романа Лонга – «была уже осень в своей силе, и время жатв наступило. Каждый в полях...»

И в окне мелькнула тень Афродиты.

Я подхожу к окну. Как тихо все! Какой желтый свет бросают вниз на часть улицы маленькие лампочки, прикрепленные к перекладинам на трамвайных столбах! И как грустно идет прохожий, подняв плечи, по панели! Куда идет он? Может быть, с ним были знакомы мои герои. Может быть, это один из моих героев, случайноуцелевший.

Небо посветлело. Крыши домов видны, с трубами и громоотводами. Цокают копыта. За мной на стене висит карта, сохранившаяся от времен всеевропейской войны, должно быть, лет двенадцать, тринадцать тому назад ее утыкала русскими, французскими, итальянскими, английскими флажками вся семья. Гордилась успехами армии, горевала при отступлениях.

Глава IV. Тептелкин и неизвестный поэт

После того как барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете, Тептелкин постоял, посмотрел на то место, где только что они протягивали ручки, и быстро пошел, спотыкаясь. По-видимому, он задумался.

– Как вы думаете... – по рассеянности остановился Тептелкин.

Книжник улыбнулся.

– Всегда вы шутите, вместо того чтобы поздороваться по-человечески. Садитесь, потолкуем.

Но Тептелкин стал рассматривать книги, развешанные на решетке сада при Мариинской больнице.

– Если бы у вас были деньги, вы, пожалуй, всю мою библиотеку купили бы. – И уличный торговец стал показывать Тептелкину книги.

Действительно, книги были замечательные: почти лубочный, недавний французский перевод Марка Аврелия был переплетен в роскошный пергамент, тисненый золотом, «Зодиак жизни» – карманная книжечка с синим обрезом, с прекрасным орнаментом на заглавном листе уносила в позднее Возрождение.

– Нет ли у вас «Утешения философии» Боэция? – спросил Тептелкин. – Я бы взял у вас в долг.

Книжники охотно давали книги в долг Тептелкину, с которым можно было посидеть и поговорить.

Боэция не оказалось.

«Но как же совместить это с концепцией неизвестного поэта, что большевизм огромен, что создано положение, подобное первым векам христианства».

И всю дорогу старался Тептелкин выйти из этого затруднения.

«Всегда новая религия появляется на периферии культурного мира, – размышлял он. – Христианство появилось на периферии греко-римского мира в Иудее нищей, печальной, узкой и косной духом. Ислам у кочевников, а не в цветущем Йемене, где бьют фонтаны, где ароматные плоды колышутся и наполняют воздух дурманом, где женщины, при пробуждении, сладострастно потягиваются и лениво зевают. Фу, какие нечистые мысли, – отвлекся Тептелкин, – точно я о женщинах мечтаю».

Он задумался.

«Даже во сне, иногда, появится женская грудь и вздохнет рядом. Черные глаза, кажется, смотрят в душу, обнимешь пустоту, замрешь и ждешь чего-то. – И Тептелкин увидел свою комнату и розу, подаренную ему в прошлую среду Марьей Петровной Далматовой. – Страшно жить ей, должно быть, – подумал он о Марье Петровне, – страшно. Мы люди культурные, мы все объясним и поймем.

Да, да, сначала объясним, а потом поймем – слова за нас думают. Начнешь человеку объяснять, прислушаешься к своим словам – и тебе самому многое станет ясно».

И он вспомнил о неизвестном поэте. Любит он здорово неизвестного поэта! Напишет неизвестный поэт, не думая, две строчки, а выйдет умно, эх, черт возьми, как умно. И будет в этих словах гибель, и великая страсть, и жалоба на заходящее навек солнце. За неизвестного поэта слова сами думают. О, как умел обращаться со стихами неизвестного поэта Тептелкин! Каким многообилием смысла раскрывались для него метафоры неизвестного поэта! Казалось ему, разрушается государство, а чистый юноша поет о свободе духа, поет скрытно, как бы стыдясь, а все слушают и хвалят за непонятные метафоры, за сияние, возникающее от сопоставления слов.

Ты говорила: нам не вернуться в Элладу,

Наш потонет корабль, ветер следы заметет...

Утром того же дня казалось неизвестному поэту, что он проснулся в доме терпимости: одетые гусарами, турчанками, польками, женщины сидят на полу и играют в карты; тапер, взмахивая шевелюрой, ударяет по клавишам. Ходят драгуны, позванивая шпорами. Улан поручик сидит на диване и пишет своей сестре письмо в стихах.

«Я – это мой отец, – подумал неизвестный поэт и взглянул на висевшую на стене картину, – грудастая женщина в пышных юбках, оклеенных звездами, лежала на диване, закатив глаза. – Я, – раскинул руки неизвестный поэт, – это мой отец в девяностых годах, в каком-то провинциальном городе, потому что в Петербурге совсем другие дома терпимости: львы, мраморные лестницы, швейцары с галунами, лакеи в атласных панталонах, оркестр человек в пятнадцать, прекрасные дамы в бальных туалетах».

– Скри-кри-ра-ра-ру-ру, – играл оркестр.

Казалось неизвестному поэту, что он – его дед, огромный, представительный, сидит в ложе; на барьере лежит шелковая афиша, обшитая мелкими кружевами; на сцене – Людовик XIII что-то говорит Ришелье. Театр деревянный, а вокруг театра деревянные домики и снега, снега... «Енисейск, – подумал неизвестный поэт. – Я – мой дед, городской голова Енисейска».

В сумраке он почувствовал приближение тройки. Будто он стоит на крыльце и слышит бубенчики, а потом удары подков, а потом и ржание, а потом голоса девичьи: «Приготовлен ли зал, где лакеи, отчего нет огней?»

И видит, лакеи из дома церемонно выходят. Раздается музыка бальная, дамы с шлейфами поворачиваются – а за окнами ночка снежная, ночка снежная, безмятежная, и стоит он и смотрит в окно – внизу аллея статуй, а вдали, в городе, снежная вьюга поет:

Где вы, оченьки, где вы, светлые.

В переулках ли, темных улочках

Разбежались, да повернулись,

Да кровавой волной поперхнулись.

Негодяй на крыльце

Точно яблонь стоит,

Вся цветущая,

Не погиб он с тобой

В ночку звездную.

Ты кричала, рвалась

Бесталанная.

Один – волосы рвал,

Другой – нож повернул —

За проклятый, ужасный сифилис.

– Кой черт, – вскричал неизвестный поэт, – не жена она мне была, не любовница, и не знаю я, был ли у ней сифилис.

Злой поднялся с белоснежной постели и пошел в Эрмитаж статуи рассматривать.

В нижнем помещении чувствует, как он сам склоняется над собой и поет:

А друзья его все гниют давно, Не на кладбищах, в тихих гробиках, Один в доме шатается, Между стен сквозных колыхается, Другой в реченьке купается, Под мостами плывет, разлагается, Третий в комнате за решеткою С сумасшедшими переругивается.

Проснулся неизвестный поэт. Было 1-ое мая.

«Приятно, – подумал он, – четыре года как я порвал с ночью, с освещенным и потухшим городом, с ночными мерцающими толпами, с предвещаниями».

Глава V. Философия Асфоделиева

– Странный Тептелкин, – болтали барышни, идя по Кирочной улице. – Девственник, наверно. Женить его надо, а то пропадет без толку.

– Хочешь, я его за тебя выдам замуж? – подумав, засмеялась Марья Петровна Далматова. – Будет тебе он ножки целовать, работать на тебя как вол, а ты – на кровати, вечно без белья лежать и романы перелистывать.

– Я хочу любви, чтобы всюду цветы забрезжили, чтоб мир для меня прояснился. А то черт знает что вокруг, – вздохнула Наташа.

– Ничего, кутнем сегодня, почитают нам стишки, угостят вином, целовать будут, – рассмеялась Муся.

– Но ведь они прохвосты, – прервала ее смех Наташа.

– Ничего, – прыснула Муся. – Если кто станет лезть по-настоящему, я булавку воткну куда попадется, живо отстанет. – Она вытащила и серьезно показала сломанную шляпную булавку.

– Только для тебя иду, – заявила Наташа, – уверена ли ты, что это не опасно?

– Ерунда, если станет приставать, дай ниже живота кулаком – отойдет как миленький.

Они вошли в подъезд. Дверь им открыл Свечин.

– Ну что, девушки, пришли, – улыбнулся он и закурил. – Весело проведем вечерок.

За ним появился Асфоделиев, выбритый, со смоченными одеколоном руками, в визитке, в сияющем пенсне; он важно и неторопливо поздоровался, спросил, гуляли ли они сегодня по Летнему саду, не написали ли новых стихов.

Все вчетвером вошли в комнату.

Мумиеобразный человек поднялся, взмахнул длинными волосами, поклонился издали.

– Вот наш друг Кокоша Шляпкин, – представил его Свечин, – поэт, музыкант, художник, кругосветный путешественник. Сейчас из глины революционные сцены лепит – прохвост ужаснейший.

Субъект улыбнулся.

За Мусей стал ухаживать Асфоделиев, за Наташей Свечин. Кокоша подсаживался то к одним, то к другим и, по-видимому, скучал.

После ужина универсальный артист Кокоша сел за пианино, начал импровизировать. В соседней комнате Асфоделиев, выбрав местечко потемнее, затащил Мусю на диван. Муся, в истоме после выпитого вина, позволяла ему проводить губами по руке, целовать затылок, но руки его отстраняла, подбородок отталкивала.

Тогда Асфоделиев попытался на нее воздействовать философией.

– На кой черт вам девственность, – шептал он, прижимая ее к себе и вращая жирным продолжением своей спины, – или вас соблазняют мещанские добродетели? нет, нет, я предлагаю вам сказочную жизнь богемы, истинно

аристократическую жизнь.

И толстяк уронил пенсне.

– Девушка – желторотый воробей, – продолжал он свои манипуляции, – от нее пахнет булкой; женщина – это цветок, это благоухание. Семья – это мещанство, это штопанье чулок, это кухня. – Рука его устремилась, но была остановлена. – Мы, поэты, – переваливался Асфоделиев на другой бок, – духовная аристократия, поэтессе нужны переживания. Как вы хотите писать стихи, не зная мужчины?

В это время, сквозь комнату, Свечин протащил хихикающую Наташу. Она была пьяна совершенно, голова ее свесилась набок, она прикрывала рот рукой, ее тошнило. Он провел ее в уборную и стал прохаживаться за дверью возбужденно. Отвел ее в последнюю комнату, опустил на постель.

Наташа уткнулась в подушку и заснула. Свечин стал раздеваться, насвистывая. Он снял с себя рубашку, стал медленно расшнуровывать ботинки.

– Пусть она уснет покрепче.

Снял ботинки, поставил их аккуратно у кровати.

Зажал ей рот рукой, она силилась сбросить его с себя, но не могла. Сквозь руку она плакала и видела свет лампы.

Он сел на краю постели отдышаться. Наташа подняла свою голову, потрогала грудь, посмотрела на его спину, откинулась и заплакала. Он повернулся, радостно похлопал ее и сказал:

– Не все ли равно – рано или поздно.

– Как твои дела? – входя в гостиную, спросил он Асфоделиева.

Тот сидел нахмурившись. Муся засмеялась.

Он отвел Асфоделиева к окну.

- Ты дурак, - сказал он. - А где прохвост Кокоша?

- Ушел давно, надоело ему ждать.

- Дурак твой Кокоша, сейчас бы в спальню пошел, пока девушка не очухалась. Говорил я ему, чтобы подождал.

- Я пойду туда, - сказал Асфоделиев, улыбнулся полным лицом, поправил пенсне и отправился.

Свечин подошел к Мусе.

- Где Наташа? - спросила она.

Но Свечин удержал ее за руки.

- Она сейчас придет.

Муся поняла и стала зла на подругу. «Дура», - подумала она и села.

Свечин сел и начал обхаживать ее.

- Где Наташа? - снова повторила она. Встала, чтобы идти ее искать.

Из дверей вышел, улыбаясь, Асфоделиев.

- Ваша Наташа пьяна как стелька, она сейчас придет.

За окнами вставало солнце. Подруги, не попрощавшись, вышли.

В это утро Ковалев сидел перед окном - вот Пьеро несет Коломбину, вот старый муж лежит при лампе, а молодая жена стоит - ищет блох. Вот девушка обнаженная лежит на операционном столе; над ней в задумчивости склонился седой доктор.

Сколько воспоминаний... Сколько воспоминаний.

Открытка с Пьеро и Коломбиной – его любимая открытка. Открытки с ловлей блох и с операционным столом – любимые открытки генерала Голубца.

А когда Ковалев в тачке возил щебень на барку, прошла возвращавшаяся с пирушки Наташа, запрятав носик в воротник, не узнала Ковалева, а Ковалев был страшно рад, что она его не узнала, он ведь не рабочий, а так, временно, до приискания настоящей работы, щебень грузит. Скрылась Наташа; закурил Ковалев, сел на тачку и задумался; достал краюху ситного с изюмом и съел с удовольствием, вспомнил Пасху, бой колоколов в воздухе и романсы.

«Ничего, вырвусь, – решил, – снова стану человеком. Вот только в профсоюз трудно пройти».

И стал думать о профсоюзе, как прежде о Георгиевском крестике.

– Надо во что бы то ни стало утвердиться на строительных работах.

Глава VI. Генерал Голубец и корнет Ковалев

Генерал Голубец, отец Наташи, рассматривая партитуру, курил дешевую сигару, когда Наташа, возвращаясь с пирушки, прошла в свою комнату. Ее отцу захотелось поговорить в это весеннее утро. Он встал, пошел следом за Наташей и остановился в дверях.

– Комендант сидел у окна, – стал рассказывать генерал Голубец анекдот, – и увидел, что по улице идет поручик Н-ского полка без шашки. «Иван!» – зовет комендант денщика и указывает на офицера. Через минуту офицер появляется в комнате, при шашке. Комендант видит шашку и смущается. «Простите, поручик, – говорит он, – мне показалось незнакомым ваше лицо. Давно ли вы у нас в городе?» И любезно поговорив, отпускает офицера. Поручик вышел. Комендант снова сел к окну. Через минуту видит – идет тот же поручик без шашки! «Иван! – кричит комендант. – Позвать его!» Через минуту входит офицер при шашке. Комендант конфузится еще более и просит офицера передать

поклон от него командиру полка. Офицер вышел. Комендант снова сел к окну. Через минуту видит, опять идет тот же офицер без шашки! «Иван! – кричит комендант. – Вернуть его!» Через минуту входит тот же поручик при шашке. Совсем сконфуженный комендант приглашает поручика сыграть вечером в винт. Молодой офицер вышел. Комендант сел к окну. Через минуту видит, идет тот же поручик без шашки! «Лиза, Елена Александровна! – зовет комендант жену и дочь и показывает в окно на офицера. – При шашке он?» – «Без шашки!» – в один голос отвечают жена и дочь. «А я говорю, шашка есть! шашка есть!» – кричит комендант и сердится.

Генерал Голубец выдержал паузу.

– А знаешь, где поручик брал шашку? – спросил он у Наташи. – Это была шашка самого коменданта!

Бывший генерал Голубец отходит от двери в столовую, садится за партитуру; рядом самовар и жена. Он тапер в кинематографе, она шьет на рынок маркизетовые платья. А позади них, в комнате, единственная дочь их, худенькое, хихикающее дитя, занимающееся в университете.

В 191... году, провожая Михаила Ковалева на войну, Наташа думала: герой, воин.

И, вернувшись домой, плакала: убьют его, наверно убьют. Ей было тогда пятнадцать лет, ее тогда нельзя было назвать хихикающим существом. Правда, она тогда уже впопад и невпопад улыбалась, но это была улыбка застенчивых людей.

Корнет Павлоградского гусарского полка Михаил Ковалев, ее жених, тогда ехал на войну как на парад. Летели поля, леса. Он стоял у окна, видел Георгиевский крест и лицо своей невесты. Но через неделю после прибытия Михаила в полк солдаты предложили ему должность кашевара. «Вот они, подвиги», – подумал он. Затем он год скрывался в лесах под Петербургом, затем он попал на красный фронт в качестве помощника инспектора кавалерии. Он ругал красных где только мог, но служил им честно. Потом он был демобилизован и очутился в Петербурге. Но Наташа к нему охладела. Годы голода ее переродили; она стала нервным существом. То она училась в какой-то театральной студии, где ее хватили за все места, то в университете прохаживалась в «Булонском лесу» (главный коридор), куря папиросу.

Михаил Ковалев редко после революции виделся с Наташей. Полное безденежье, невозможность найти службу – у него не было никакой специальности – глубоко унижали его и приводили в отчаяние. Но все же он думал, что он когда-нибудь найдет место и тогда женится на Наташе.

Ежегодно, в первый день Пасхи, он натягивал краповые чакчиры с золотыми галунами, сапоги с гусарскими розетками, вытаскивал из глубины шкафа френч. Из-под половицы доставал золотые погоны с вензелями, одевался быстро, быстро, клал шпоры в карман и, в прожженной на войне с белыми шинели, – летел к Наташе.

Это повторялось из года в год. Он взбегал по лестнице, бывшая ее превосходительство сидела в комнате и читала книгу. С

Наташей он христосовался, съедал ломтик кулича и блюдечко сливочной пасхи.

Затем Наташа садилась за зыбкое пианино и что-то безголосо пела. Открывала жалко рот и смотрела на Михаила Ковалева. Ей было грустно, она его больше не любила. Она считала его пошлым.

Иногда Михаил Ковалев вставал, просил Наташу сыграть «Ах, увяли давно хризантемы». Становился рядом, тоже раскрывал рот и фальшивил. Иногда пел «Это девушки все обожают» или «Красотки, красотки, красотки кабаре, любовь ведь для вас наслажденье».

«Ах, как хорошо провел я этот вечер», – думал он, возвращаясь ночью домой по переименованным и вновь освещенным улицам, среди буденовок, кожаных курток, под скачущими вывесками.

Глава VII. Книга Тептелкина

Для создания мысли научная поэзия необходима, – думал Тептелкин, лежа в постели, на следующий день после чтения, – вот и никому не известный поэт посредством сопоставления слов вызывает новый мир для нас; мы его разберем,

разложим, переведем на язык прозы, лишим образности, и следующее поколение, уже усвоившее плоды наших трудов, не увидит в его стихах пышного цветения образности нового мира. Все будет им казаться обыкновенным в его стихах, жалким; а сейчас только немногим доступны они.

Пройдут годы, вся эпоха отойдет, все вокруг изменится, и над неизвестным поэтом будут смеяться, называть варваром, сумасшедшим, идиотом, пытавшимся испортить прекрасный язык. Ученики, пишущие скверные стишки ученицам, конторщики, между составлением бумаг объясняющиеся в любви машинисткам, директора трестов и представители месткомов будут говорить:

- Экое было вырождение и до чего праздные люди не додумаются! Стихи должны передавать мысль, идти по пятам науки. Радио изобретен - пиши о радио, беспроводный телеграф изобретен - прославляй культуру.

Но пока хоть и недолгая слава, - Тептелкин спустил ноги и сел на постели, - но слава уже ждет неизвестного поэта. Барышни уже начали наклеивать фотографические карточки на его книжки,жимают ему руку научные сотрудники, студенты вешают его портрет над скучными книжками. И если он сейчас умрет, то за его гробом пойдет не менее сорока человек и будут говорить о борьбе против века и изобразят хитроумным Одиссеем, оставшимся на острове Цирцеи (искусство), бежавшим от моря (социология)».

Взглянул Тептелкин в окно, не идет ли к нему неизвестный поэт, и увидел, что идет, палочкой постукивает, шляпой помахивает, новую рукопись несет.

«Вот сейчас попирую в стране неизвестной», - подумал Тептелкин и побежал дверь отпирать.

Поцеловались. Ругнули современность. Духовно плюнули на проходивших пионеров.

- Экое поколение растет, без всякого гуманизма, будущие истинные представители средневековья, фанатики, варвары, не просвещенные светом гуманитарных наук.

- Да пакость, гадость вокруг - одичание, - склонился Тептелкин.

Сели.

– И всегда пакость, гадость была вокруг, сволочное топтание, – задумавшись, продолжал Тептелкин. – Воображаю, как белогвардейцы пакостят консульские здания за границей: перед тем, как туда вселяется какое-нибудь полпредство и обои срывают, и в потолок плюют, и паркет выламывают. Не сядут перед камином посидеть в последний раз, погрустить, посмотреть на стены, материей обтянутые, не походят по комнатам, не выйдут в сад, если таковой при доме имеется.

– Не стоит философствовать, – уклонился неизвестный поэт, – мы давно – я искусственно, вы литературно – пережили гибель, и никакая гибель нас не удивит. Интеллигентный человек духовно живет не в одной стране, а во многих, не в одной эпохе, а во многих и может избрать любую гибель, он не грустит, а ему просто скучно, когда его гибель застаёт дома, он только промычит: еще раз с тобой встретился, – и ему станет смешно.

Тептелкину стало грустно, очень грустно. Он подошел к окну.

«Какие славные, загорелые дети эти пионеры, – подумал он и улыбнулся. Ему почему-то стало радостно и свежо, как будто в комнату ворвалась струя воздуха, освещенная солнцем, – вот снова молодость мира», – подумал он.

В это время в комнату вошел Костя Ротиков.

– Удивительные стихи пишете вы, – обратился он к неизвестному поэту, – истинное барокко.

У Кости Ротикова были особые движения, весь он двигался с элегантностью. Сегодня он зашел к Тептелкину, чтоб увезти неизвестного поэта и поговорить с ним о безвкусице: он собирал безвкусные и порнографические вещи как таковые; часто они, Костя Ротиков и неизвестный поэт, ходили по рынкам и выбирали пепельницы; на одной стороне пепельницы все прилично, а на другой все неприлично; на одной стороне идет дама и лицо кавалера за ней улыбается, а на другой...

Костя Ротиков покупал не только порнографические открытки, но и открытки приличные, но отвратительные. Усастый, румяный кавалер обедает с дамой в

ресторане и жмет ей ножку под столом своим сапогом. Девица в причёске блином играет на арфе. Голая нимфа с кружкой пива бежит, а за ней охотится человек в тирольском костюме.

Когда они ушли, Тептелкин вздохнул свободнее. Осмотрел свою комнату, и все в ней ему понравилось. Понравилась ему и пепельница с цветочками (она существовала для друзей – Тептелкин не курил), и ваза для цветочков с аравитянской, облокотившейся на кувшин, и фотографические карточки – семейные сцены детства: вот шестилетний Тептелкин бежит с сачком за бабочкой, вот восьмилетний Тептелкин обедает, вот десятилетний Тептелкин в латах царя сидит под елкой; вот карточки матери, братьев, сестер, вот друзей, наконец, карточка Мечты.

Посмотрел Тептелкин на летнее кресло-качалку и нашел, что оно не менее удобно, чем вольтеровское кресло, решил продолжать основной труд своей жизни, открыл сундук, сундук был всегда покрыт зеленой плюшевой скатертью и изображал – неизвестно что изображал. Достал тетрадь.

На первой странице было выведено: «Иерархия смыслов. Введение в изучение поэтических произведений». На второй странице в нижнем углу (Тептелкин любил оригинальность) помещалось посвящение «Моей Единственной» (Единственной – с большой буквы) и фотографическая карточка Мечты. На третьей странице римская цифра I, на четвертой посередине выступало одно слово: «предисловие», на пятой...

Труд был начат солидно. Дальше под основным текстом шли примечания на французском языке из виднейших современных лингвистов, без перевода на русский язык (труд был явно рассчитан на настоящих ученых, а не на глупых студентов). Основной текст, казалось, тоже был написан на иностранном языке и только согласован русскими окончаниями. Тут намекалось на возможность дать новые определения понятию романтического и понятию классического, тут говорилось о поэтических способах окрашивать настоящее время в прошедшее и будущее и разрушалось нелепое представление, что смыслы гнездятся в слове, и давалось определение эстетического как фантазма, как гармонизации природы и истории.

«И если б истинный художник, – думал Тептелкин, – заглянул в эту книгу, он не смог бы оторваться от нее; на него подействовал бы завораживающий пафос этих страниц: художественное произведение всегда лично, принципиально

лично, нельзя видеть художественное произведение безлично, дело не в имени, а в том, что личность в произведении отражается».

* * *

«Искусство есть восхищенность, есть объективный фазис бытия. В эстетическом нет ни природы, ни истории, это особая сфера: и не логическая, и не этическая, и не сумма их». Сколько бы ни читал художник, неотступно звучал бы в его ушах лейтмотив книги: искусство есть бытие восхищенное, фантазия есть объективный фазис бытия. И он бы простил Тептелкину и нелепый язык, и французские примечания, и убранство комнаты, и фотографическую карточку Мечты в шляпке, с зонтиком в руках, отъезжающей на извозчике.

Интермедия

Уже два часа прохаживается по рынку Костя Ротиков в белых брюках, в черном пиджаке и фетровой шляпе. Высокий, коренастый, склоняется над барахлом, безглаголиво раздвигает палочкой, ищет порнографию.

– Чего вам? – спрашивают торговки старым железом и сосут край стакана с горячим чаем. – Чего вы все роетесь, все разбрасываете?

Краснеет Костя Ротиков и отходит. Неизвестный поэт по другую сторону стоит перед рыночным антикваром, рассматривает старую, косматую, похожую на ведьму Венеру; одной рукой она ведет большеголового амура, в другой держит балалайку. У Венеры чресла опоясаны монгольской тканью с зигзагами, груди у нее морщинистые, отвислые, а по бокам головы знаки ее (+).

В это время к нему подходит Свечин.

– Знаешь, здесь на рынке Кокоша Шляпкин торгует. Выставил, подлец, красноармейца, танцующего на груди офицера, нарисовал портретики Ильича, вставил в медальоны и комсомолкам в платочках предлагает. А не знаешь ли ты вузовки какой-нибудь? Люблю девушек откупоривать. Вчера, пока ты шествиями наслаждался, – знаю, знаю, сидел где-нибудь на балконе и поплеывал вниз, – я

Наташу...

Бывший артиллерийский офицер сделал соответствующий жест.

Неизвестный поэт почувствовал беспокойство. Он помнил ее еще маленькой девочкой с косичками, в белом платье, танцевавшей в Павловске на детских балах.

– А, вот вы где, друзья мои, – протянул им руки Тептелкин, – должно быть, о литературе говорите, не буду мешать вам, не буду.

Он откланялся и пошел.

Костя Ротиков, наконец, отыскал соответствующую спичечницу. Свечин отправился, заглядывая под шляпки.

Вдоль стены стояли бывшие дамы, предлагая: одна – чайную ложечку с монограммой, другая – порыжевшее, никуда не годное боа, третья – две рюмочки, переливавшие семью цветами, четвертая – тряпичную куколку собственного изделия, пятая – корсет девятисотых годов. Та седая старушка – свои волосы, выпавшие еще в ранней юности и собранные в косичку, эта, сравнительно молодая, – сапоги, довольно поношенные, своего умершего мужа.

Глава VIII. Неизвестный поэт и Тептелкин ночью у окна

– Вы совершаете великую подлость, – сказал мне однажды неизвестный поэт. – Вы разрушаете труд моей жизни. всю жизнь я старался в моих стихах показать трагедию, показать, что мы были светлые; вы же стремитесь всячески очернить нас перед потомством.

Я посмотрел на него.

– Если вы думаете, что мы погибли, то вы жестоко ошибаетесь, – продолжал неизвестный поэт, играя глазами, – мы особое, повторяющееся периодически

состояние и погибнуть не можем. Мы неизбежны.

Он сел на скамейку. Я сел с ним рядом.

– Вы – профессиональный литератор, нет ничего хуже профессионального литератора, – отодвинулся он от меня.

– Сумасшедший, – пробормотал я. Он повернул голову.

– Иногда сознания у современников не совпадают, – это не дает вам права считать меня сумасшедшим.

Я устыдился. Может быть, правда, он не сумасшедший. Мы помолчали.

Он настороженно стал слушать шорохи листьев.

Мимо нас проходили комсомольцы со своими подругами.

«Нет нет, все же он сумасшедший!»

– Я часто отсутствую, – сказал неизвестный поэт, как бы отгадывая мою мысль, – но это не что иное, как растворение в природе.

Он встал и пожал мне руку.

– Мне искренно жаль, что вы живете в том мире, который изображаете.

К нему шел Тептелкин.

Они серьезно и как вежливые люди поздоровались. Они не хлопали друг друга по плечу.

Прошли по аллее. Я прошел мимо мечети, сел в трамвай. «Ты сумасшедший, все же сумасшедший», – подумал я.

Я вошел в дом, очинил карандаш.

– Нет, – сказал я, – надо выяснить, что сейчас они делают. Они, должно быть, опять заняты скверным и нехорошим делом.

Я покрутил усы, вышел, положил ключ в карман, посмотрел, при мне ли карандаш и бумага. Ночь была белая.

Колонны выступали то парами, то тройками, то четверками. Ко мне пристало существо в одежде сестры милосердия.

– Я – Тамара, – сказала она.

– А где твое одеяло из белого атласа? – спросил я, – одеяло из дорогой материи стоби, из индийского коленкора, из гиландского шелка, подушка шелковая цвета фиалки, вуаль золотая с кисточкой?

Она навела на меня лорнет.

– От вас воняет пивом, – сказала она. – Но вы, должно быть, чистенький мужчинка. Идемте ко мне.

– Ладно, – ответил я, – в другой раз. Сейчас я ужасно занят. Сейчас мне некогда.

– Ничего, ничего, – ответила она, – можно и тут, отойдемте в сторонку.

Видя, что я не останавливаюсь, крикнула:

– А может быть, вы литератор, вы ведь все, подлецы, нищенствуете. Я одного взяла на содержание, Вертихвостова. Он стихи мне про сифилис читает, себя с проституткой сравнивает. Меня своей невестой называет.

– Отстаньте, дорогое существо, – сказал я, – отстаньте. Я не литератор, я любопытствующий.

Она шла за мной и проводила меня почти до площади Жертв Революции. Там она села на скамейку и заплакала.

– Кой черт вы плачете? – спросил я ее. – Или вам жаль шубы из горносталя, или другой, из каракумского меха с жемчужинами на отвороте, или колец из ништадтской бирюзы, или накидки из ткани хорасанской, или шахмат из рыбьих зубов, шкатулок из янтаря?

– Я хотела бы покататься на велосипеде, я ведь одна из лошадок полковника Бабулина, я хочу, чтобы вокруг меня были офицеры.

Тут я только заметил, что ее совершенно развезло.

«Пьяница», – подумал я и удвоил шаг.

Был второй час ночи, когда я подошел к дому, где жил Тептелкин. Дворник пропустил меня. Я прошел в полуразрушенный флигель, встал против окна Тептелкина. Они сидели за столом, горела керосиновая лампа, они что-то читали, жарко спорили. Иногда неизвестный поэт вставал и прохаживался по комнате. «Что они читают, о чем говорят? – подумал я. – Наверно, хихикают над современностью».

– Я думаю, – поднялся неизвестный поэт, – наша эпоха героическая.

– Несомненно героическая, – подтвердил Тептелкин.

– Я думаю, что мир переживает такое же потрясение, как в первые века христианства.

– Я убежден в этом, – ответил Тептелкин.

– Какое зрелище перед нами открывается! – заметил неизвестный поэт.

– В какой интересный момент мы живем! – восторженно прошептал Тептелкин.

– Однако, пора, – отошел неизвестный поэт от окна. – Я возьму у вас Данта.

– Конечно, – ответил Тептелкин.

Неизвестный поэт подошел, закрыл книгу, положил ее в карман. Стал прощаться.

Глава IX. Поэт Сентябрь и неизвестный поэт

Однажды неизвестный поэт читал стихи в уголке имени Кружалова.

Вокруг него извивался пьяный, бородатый, в ситцевой рубахе человек и почти плакал от восторга.

– Боже мой, – повторял он, – какие гениальные стихи! О таких стихах я мечтал всю жизнь!

Знакомые барышни дружно хлопали неизвестному поэту. Человек в ситцевой рубахе дохнул на него винным перегаром, потряс руку.

– Ради бога, зайдите ко мне, моя фамилия Сентябрь. Неизвестный поэт достал из кармана обрывки исписанных бумажек, выбрал на одном из них свободное место, записал адрес.

– Я приехал из Персии, зайдите ко мне, я давно не слышал настоящих стихов, – сказал человек в ситцевой рубахе.

На следующий день неизвестный поэт отправился к Сентябрю.

Сентябрь жил в другой части города, в так называемом доходном доме, т. е. в высоком доме с узеньким, как колодец, двором, с большими, со всеми удобствами, квартирами на улицу и маленькими, в боковых флигелях и заднем фасаде, неумолимо однообразными, повторяющимися по одному плану снизу вверх.

Неизвестный поэт позвонил. Дверь ему отворил Сентябрь, трезвый, в высоких сапогах, в чистой рубахе, подпоясанный ремнем.

В первой комнате посредине стоял стол, накрытый скатертью, на нем остатки еды. Вокруг стола четыре покоробленные дождем венские стула. На гвоздике висело пальто, порыжевшее от времени, и кофточка жены. Половина комнаты была отгорожена шкафом, за ним стояло брачное ложе Сентября.

Неизвестный поэт отложил свою палку, украшенную епископским камнем, положил шляпу и с искренней симпатией посмотрел на Сентября. Он уж многое знал о нем. Знал, что тот семь лет тому назад провел два года в сумасшедшем доме, знал нервную и ужасную стихию, в которой живет Сентябрь.

– Я со вчерашнего дня не могу успокоиться, – говорил Сентябрь, – до сумасшедшего дома, в сумасшедшем доме и в Персии мне чудились такие стихи, как будто вы умирали не раз, как будто вы не раз уже были.

Неизвестный поэт осмотрел комнату.

– Прочтите мне свои стихи, – сказал он.

– Нет, нет, потом. Вот моя жена.

Из-за шкафа вышла худенькая женщина с семилетним чистеньким, красивым мальчиком.

– Вот мой зайченок Эдгар. Это необыкновенный поэт, – сказал он ребенку, показывая глазами на неизвестного поэта.

– Пушкин? – спросил мальчик и широко раскрыл глаза.

Сентябрь провел неизвестного поэта в свою комнату. Узенькая кровать (отдельное ложе Сентября), прикрытая фиолетовым одеялом с черными горизонтальными полосами. Тоненькая подушка служила изголовьем. Вся исчерканная рукопись валялась посредине постели. На подоконнике стоял стакан и дыбилась начатая осьмушка махорки. У стены черный столик и стул. Комната была оклеена обоями с яркими розами.

Сентябрь и неизвестный поэт сели на постель.

– Зачем вы приехали сюда! – Помолчав, неизвестный поэт посмотрел в окно. – Здесь смерть. Зачем бросили берег, где печатались, где вас жена уважала, так как у вас были деньги? Где вы писали то, что вы называете футуристическими стихами. Здесь вы не напишете ни одной строчки.

– Но ваши стихи? – ответил Сентябрь.

– Мои стихи, – неизвестный поэт задумался, – может быть, совсем не стихи. Может быть, они оттого так действуют. Для меня они иносказание, нуждающийся в интерпретации специальный материал.

– Я не все понимаю, что вы говорите, – заходил Сентябрь по комнате. – Я кончил только четырехклассное городское училище, затем я сошел с ума. По выходе из больницы стал писать символистические стихи, ничего не зная о символизме. Когда, затем мне случайно попались рассказы По, я был потрясен. Мне казалось, что это я написал эту книгу; я только недавно стал футуристом.

Он остановился, приподнял край одеяла, вытащил из-под кровати деревянный ящик, открыл его, достал рукопись, прочел:

Весь мир пошел дрожащими кругами,

И в нем горел зеленоватый свет.

Скалу, корабль, и девушку над морем

Увидел я, из дома выходя.

По Пряжке, медленно, за парой пара ходит,

И рожи липкие. И липкие цветы.

С моей души ресниц своих не сводят

Высокие глаза твоей души.

«Удивительную интеллигентность, – думал неизвестный поэт, пока Сентябрь читал, – вызывает душевное расстройство». Он посмотрел в глаза Сентябрю: «Жаль, что он не может овладеть своим безумием».

– Я написал это стихотворение, – снова заходил Сентябрь по комнате, – еще до выхода из лечебницы. Я его тогда понимал, но теперь совсем не понимаю. Для меня это сейчас набор слов.

Он нагнулся и вынул из ящика другие стихи. Выпрямился, снова стал читать.

В общей ритмизированной болтовне изредка попадались нервные образы, но все в целом было слабо.

Сентябрь это почувствовал, сел на корточки, сконфуженно принялся рыться в глубине сундука. Он вытащил книжечки своих стихов, напечатанные в Тегеране, но и в них не было ничего.

– Чайник вскипел, – остановившись в дверях, обратилась к мужу жена, – Петр Петрович, пригласи гостя чай пить.

– Сейчас, сейчас – и Сентябрь в глухой безнадежности скороговоркой стал читать свои недавние, футуристические стихи.

Неизвестный поэт почти в отчаянии сидел на кровати.

«Вот человек, – думал он, – у которого было в руках безумие, и он не обуздал его, не понял его, не заставил служить человечеству».

От окна уже несло ночным холодком. Сентябрь и неизвестный поэт прошли в соседнюю комнату.

Розовые сушки лежали на тарелке. Жена Сентября разливала чай; маленькая, черненькая, морщинистая, но юркая, она быстро, быстро говорила, предлагала сушки, опять говорила. Наконец неизвестный поэт прислушался.

– Не правда ли, – продолжала она, – это безумие приехать сюда, здесь страшно жить, а у него у Байкала родители крестьяне, дом – полная чаша, туда, а не сюда надо было ехать.

Керосиновая лампа мутно горела на столе. Отодвинув стакан, семилетний Эдгар спал, положив на руки голову.

– Зайченуш мой, – склонился Сентябрь и поцеловал своего сына.

Наступило молчание.

– Ты меня и сына погубишь, нам надо уехать, уехать! Встав из-за стола, она принялась ходить по комнате. Глубокой ночью спускался неизвестный поэт по лестнице.

На пустой улице, слушая замолкавшее эхо своих шагов, облокотился на палку с большим иерархическим аметистом, выпустил лопатки и задумался. Хотел бы он быть главою всех сумасшедших, быть Орфеем для сумасшедших. Для них бы разграбил он восток и юг и одел бы в разнообразие спадающих и вновь появляющихся риз несчастные приключения, случающиеся с ними.

Он с ненавистью поднял палку и погрозил спящим бухгалтерам, танцующим и поющим эстрадникам. Всем не испытывавшим, как ему казалось, страшной агонии.

– Помогите! о помогите! – мерещилось ему, кричал девичий голос из первого этажа.

Ничего не понимая, с силой, удесятеренной тоской, он, прихрамывая, взбежал по лестнице, сбежал с нее и с разбегу кинулся в окно. Глаза у него остановились, шея напряглась. Раз, раз! вцепился он в чей-то затылок и начал бить кулаками по голове; его легко сбросили – он вцепился в горло; его откинули – он схватил тяжелый стул. Ударил.

Стало тихо.

У ног его лежал Свечин. Никакой девушки в комнате не было.

«Вот так штука, – подумал неизвестный поэт, приходя в себя, – черт знает что произошло».

Вся квартира зашевелилась, захлопали двери, затопали ноги по коридору.

Неизвестный поэт морщил лоб.

Побежали за постовым милиционером.

Выяснили, что в то время, как Свечин спал, в комнату ворвался через окно его знакомый и покушался его убить.

«Какая странная жизнь, – думал неизвестный поэт. – По-видимому, во мне глубоко, глубоко живы ощущения детства. Когда-то женщина мне казалась особым существом, которое нельзя обижать, для которого надо всем жертвовать.

По-видимому, в моем мозгу до сих пор сохранились какие-то бледные лица, распущенные волосы и ясные голоса. Должно быть, подсознательно я ненавидел Свечина, иначе как могла возникнуть эта галлюцинация?»

Окно было забито досками, за досками была укреплена решетка; наверху виднелась узенькая полоска облачного неба; на одной койке сидел неизвестный поэт, на другой – лежал пожилой заключенный.

Больше всех удивлен был этим происшествием Свечин. Он его никак не мог объяснить. Он ходил обвязанный и пожимал плечами.

Глава X. Некоторые мои герои в 1921–1922 гг

С некоторых пор, с опозданием на два года, в городе – я говорю о Петербурге, а не о Ленинграде – все заражены были шпенглеризмом.

Тонконогие юноши, птицеголовые барышни, только что расставшиеся с водяной отцы семейств ходили по улицам и переулкам и говорили о гибели Запада.

Встречался какой-нибудь Иван Иванович с каким-нибудь Анатолием Леонидовичем, руки друг другу жали:

– А знаете, Запад-то гибнет, разложение-с. Фьютс культура – цивилизация наступает...

Вздохали.

Устраивались собрания. Страдали.

Поверил в гибель Запада и поэт Троицын. Возвращаясь с неизвестным поэтом из гостей, икая от недавно появившейся сытной еды, жалостно шептал:

– Мы, западные люди, погибнем, погибнем. Неизвестный поэт напевал:

О, грустно, грустно мне, ложится тьма густая

На дальнем Западе, стране святых чудес...

Говорил о К. Леонтьеве и хихикал над своим собратом. Ведь для неизвестного поэта что гибель? – ровным счетом плюнуть, все снова повторится, круговорот-с.

«Подыми ножку и скачи», – хотелось ему посоветовать Троицыну. Он хлопнул его по плечу: – Любишься зрелищем мира, – и показал на собачку, гадящую у ворот.

Троицын остановился – собак тогда еще мало было в городе.

– А все же грустно...чка, – он назвал неизвестного поэта уменьшительным именем. – Вот пишешь стихи, а кому они нужны. – Читателей нет, слушателей нет – грустно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://telnovel.me/ru/vaginov_konstantin/kozlinaya-pesn

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)